

очень далёкое, странное и прекрасное, *лежащее за пределами древнеанглийского*» (Лихачёва 1993: 99; выделено мной — Л. М.).

Наш историк всё это обнаруживает, и к тому же он склонен больше доверять мифам (в которых видит «свидетельства очевидцев»), чем «косвенным уликам» — материальным остаткам и радиоуглеродным датировкам. И вот он предъявляет «*Сильмарилион*» научной общественности и требует отказаться от всей «официальной» истории, геологии, палеонтологии, филологии и религии — именем подлинного древнего завета («откровения Мандоса»⁸⁷ или как-то ещё), чудом уцелевшего в *семейной хронике* под пером одного-единственного человека!

А ведь предки Толкиена были из Нижней Саксонии — с древней Фризией (побережьем от Голландии до северного Шлезвига) это соседние места. Может, его семья и не была в родстве с кем-то из авторов «*Хроники Ура Лунда*», но кто поручится, что этот автор не мог быть фантастом в духе Толкиена — в эпоху, когда такое занятие не считалось ни почётным, ни даже допустимым? То есть — был смысл не афишировать своё авторство?

Если бы Г. Вирт отнёсся к своей хронике именно как к фантастическому сочинению в жанре ретроутопии, да ещё плюс некоторая доля иронии, — «*Хроника*» могла бы стать основой для целых серий захватывающих романов в жанре *fantasy*. Но его претензия на научность — да что там: на роль пророка — загубила книгу, которая иначе могла бы стать интересным фактом литературы. Впрочем, главная вина в этом лежит всё же не на Вирте (вспомним, формулировку, с которой он был освобождён в 1945 г.: «вовлечённый по наивности»), а на самих мистификаторах — К. Овер де Линдене и Ф. Хавершмидте, затянувших шутку дольше, чем следовало.

IV.10. Наука без экспериментов?

Это больше чем предположение — это гипотеза.

А. Конан Дойль. Сокровища Агры

Нельзя не удивиться мнению крупного учёного о научном методе, подкреплённому ссылкой на В. И. Вернадского:

«... деление образов мышления, тем самым и наук, по предмету изучения неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода: чтение книг или выслушивание сообщений (легенд, мифов и т. д.) и наблюдение, иногда с экспериментом. Первый способ соответствует гуманитарным наукам, царицей коих является филология. Второй — естественным наукам, которые следует подразделить на математизированные и описательные. Математизированные имеют дело с символами; описательные — с феноменами. К числу последних относятся география и биология» (Гумилёв 1990: 235).

То есть даже естественные науки — «*иногда с экспериментом*», гуманитарные же им и вовсе не пользуются. Но ведь от Ф. Бэкона до К. Р. Поппера известно, что эксперимент («метод проб и ошибок», как часто называет его Поппер) — *единственный* подлинно научный метод. Отказавшись от него (или не имея возможности его применить по не зависящим от нас причинам), мы немедленно покидаем сферу науки и переходим в какую-то другую, пусть даже сколь угодно почтенную,

⁸⁷ Мандос (Намо) — в «*Сильмарилионе*» хранитель палат мёртвых и прорицатель, отчасти соответствует греческому Аиду.

но всё же другую. Так, философия изучает объекты, экспериментальное исследование которых невозможно. Поэтому, хоть без философии реально не обходится ни один человек (даже тот, кто этого не замечает), хоть само гуманитарное знание существует в основном ради философских выводов, но всё же она — не наука, и любые философские построения не имеют доказательной силы научных истин. На том же основании К. Р. Поппер отказывал в научном статусе, например, астрологии — даже не ставя вопроса, содержит ли она хоть зерно истины: если даже и содержит, то не может этого доказать. Конечно, не одной наукой жив человек, но давайте будем точными в определениях. Допустим, двое оппонентов: а) спорят на теоретическом уровне; б) спорят перед толпой на митинге; в) подают друг на друга в суд; г) стреляются на дуэли. Победы здесь могут распределиться как угодно, ни одна из них не влечёт за собой победы и в трёх остальных сферах: более убедительный теоретик может хуже владеть пистолетом, а блестящий митинговый оратор — проиграть дело в суде.

Конечно, тут уместен старый вопрос: являются ли в таком случае гуманитарные науки науками? Ведь историк получает свою информацию готовой из источников. Какой бы кислотой он на эти источники ни капал, он не узнает ничего нового, кроме отдельных деталей (например, происхождения и возраста бумаги, на которой написана рукопись, — что бывает существенно, но не это главное). Однако эксперимент ведь — не только капли кислоты и взвешивание. Суть его в том, что учёный:

а) ставит перед собой проблему;

б) формулирует гипотезу, объясняющую эту проблему, и делает вывод: если и только если гипотеза верна, то в таких-то условиях должны наблюдаться такие-то факты;

в) проверяет, наблюдаются ли предсказанные факты;

г) на основе результатов наблюдения делает вывод о конфирмации (повышении вероятности) либо опровержении своей гипотезы;

д) если гипотеза не подтвердилась — выдвигает другую, если подтвердилась — она получает ранг теории (что не исключает её опровержения последующими экспериментами).

А такое возможно и без приборов, которые мы привыкли связывать со словом «опыты». Что такое эксперимент, например, в истории? Выдвинув свою гипотезу, историк делает вывод: если она верна, значит, в таких-то источниках должны обнаружиться такие-то сведения, — и ищет их (а заодно проверяет, нет ли сведений, противоречащих его гипотезе, — в силу «принципа фальсификации» К. Р. Поппера). Или антрополог: если верна гипотеза Фрейда об Эдиповом комплексе — значит, он должен быть обнаружен и у подростков на Самоа (цель первой экспедиции Маргарет Мид), если он там не обнаруживается — неверна сама гипотеза. Здесь не применяется лакмус, но это всё же эксперимент! Без этого исчезает сама грань между науками (пусть сколь угодно гуманитарными) и беллетристикой.

С этой точки зрения явно неправы современные авторы (радикально настроенные против сциентизма), утверждающие: «Экспериментальный метод изучения природы имеет специфику по сравнению, скажем, с простым наблюдением. Последнее до сих пор широко используется в “описательных” науках, таких как зоология или антропология, где в идеале важно как можно меньше вмешиваться в наблюдаемый процесс. При постановке эксперимента мы, напротив, стараемся контролиро-

вать условия таким образом, чтобы выделить и, соответственно, изучить какой-то один фактор» (Ирхин, Кацнельсон: гл.2.3). Урегулированное наблюдение, в отличие от простого, как раз включает контроль условий (не искусственное их создание, как в классическом эксперименте, но всё же их учёт, выбор места и времени), оно стремится получить массовый материал. А «невмешательство» антрополога не исключает, например, анкетирования и тщательно продуманных опросов. Такое наблюдение — не противоположность эксперимента, а его разновидность. Поэтому ничем не оправдан сарказм:

«Как подчёркивал, в частности, один из создателей квантовой механики Э. Шредингер, современная западная наука (прежде всего, механика Ньютона), вопреки господствующему мнению, возникла не столько из попыток объяснить результаты эксперимента, сколько из попыток объяснить результаты астрономических *наблюдений* (законы Кеплера)» (там же).

Авторы, видимо, уверены, что им удалось поймать астрономов за руку. Действительно, мы не можем засовывать звёзды в пробирку. Но различие между тончайшими методами астрономического наблюдения (результаты которых подкреплены солидным математическим аппаратом и позволяют делать сбывающиеся прогнозы) и банальным принципом: «что вижу, о том и пою», — самоочевидно для любого беспристрастного читателя. Подробно об этом писал академик А. Б. Мигдал: «В астрономии вместо слова “эксперимент” (словарь определяет его так: проба, опыт, проверка гипотез) принято употреблять слово “наблюдение”, подчеркивающее невозможность изменить ход событий по желанию экспериментатора, но суть остается — астрономический эксперимент состоит в том, что место, время и способ наблюдения отбираются так, чтобы получить ответ на поставленный вопрос. Впрочем, в наши дни с помощью спутников стали возможны астрономические эксперименты и в обычном смысле слова» (Мигдал 1982: 62).

Ещё раз повторяем: эти проблемы не новы. С субъективностью нарративных источников сталкивался ещё Марк Блок — и не опустил руки, не попытался заметить их каким-нибудь родом «вчувствования», а разработал процедуру научного исследования, позволяющую преодолеть эту субъективность. Стоит привести его замечание:

«Но, как говорил Гумбольдт, нет ничего хорошего в том, что химики “боятся замочить руки”. Для истории опасность подобного расхождения между подготовкой и свершением — двоякая. Прежде всего, и очень жестоко, страдают крупные работы, интерпретирующие историю. Авторы их не только нарушают первостепенный долг — терпеливо искать истину; лишённые тех постоянно возникающих неожиданностей, которые доставляет только борьба с источником, они, вдобавок, не могут избежать непрерывного колебания между несколькими навязанными рутинной стереотипами. Но и техническая работа страдает не меньше. Без высшего руководства она рискует погрязнуть на неопределённый срок в проблемах незначительных или даже неверно поставленных. Нет худшего расточительства, чем растрачиваемая впустую эрудиция, нет более неуместной гордыни, чем самодовольство орудия, считающего себя целью.

Против этих опасностей отважно боролось сознание XIX в. Немецкая школа, Ренан, Фюстель де Куланж вернули исторической эрудиции её интеллектуальную высоту. Историк был возвращён к верстаку» (Блок 1986: 50—51).

У Шпенглера роль эксперимента играет «вчувствование» как живое переживание (тавтологии здесь не больше, чем в вечных ссылках на «живую жизнь» у религиозно настроенных философов). Но это противоречит одному из главных требований к эксперименту — его воспроизводимости. Не раз он высказывается против физикализма в гуманитарных науках (Шпенглер 1993: 479—481, 609—629), что переходит, однако, в апологию безграничного субъективизма. У Тойнби такие пассажи незаметны.

В. Н. Дёмин представляет себе эксперимент очень по-советски. Четырежды (Дёмин 1997: 33, 39, 305, 521) упоминается «ползучий эмпиризм» — идеологический ярлык ещё 1920-х годов («очень обидно, товарищи, — нечто вроде стригущего лишая»), как иронизировали ещё И. Ильф и Е. Петров). Вот и все упоминания об эмпирии. Что до слова «эксперимент», то с ним столь же не густо. Впервые оно появляется в «*Заключении*» — в названии работы А. В. Барченко (Дёмин 1997: 471), ещё дважды — в «*Приложении 3*»:

«Все эти вопросы в рамках обоснования биохимической первоосновы природы ставились еще В. И. Вернадским. В настоящее время те же проблемы всесторонне исследуются на экспериментальном уровне многими учеными, добившимися впечатляющих результатов (опыты А. Е. Акимова и его группы, эксперименты и теоретические обобщения А. И. Вейника, концепции Б. И. Исакова, Г. И. Шипова и др.).» (Дёмин 1997: 520).

Только эти эксперименты упоминаются одобрительно — в качестве примера — во всей 560-страничной книге. Это всё. Явно научный опыт не привлёк внимания автора. Если доктор *философских* наук В. Н. Дёмин не заметил, что именно экспериментальный метод отличает науку от всего остального на свете (в том числе и от философии, сфера которой — то, что эксперименту не поддается), тогда, конечно, можно представлять себе науку просто как враждебную религиозную секту. Но если он не заметил даже этой разницы, — простите, тогда какой же он вообще философ (не говоря уж об учёном)?!

«Другие исследователи, напротив, пытаются беспредельно раздвинуть рамки существования человеческой цивилизации и русского народа. Так, в книге В. М. Кандыбы “История русского народа до XII в. н. э.” (М., 1995) и в других изданиях автора дается следующая — названная “ведической” — периодизация мировой и русской истории: 1. Арктический период — с незапамятных времен. 2. Сибирский — с третьего миллионелетия до н. э. 3. Уральский — с 200-го тысячелетия до н. э. 4. Арийский — с 120-го тысячелетия до н. э. 5. Троянский — с 17-го тысячелетия до н. э. 6. Киевский — с 8-го тысячелетия до н. э. 7. Смутное время — вплоть до наших дней. Однако никаких фактов, относящихся к Арктиде — Древней Прародине всех народов, Сибирской Руси, Уральской Руси, Троянской Руси, в книге В. М. Кандыбы не приводится. Автор руководствуется, скорее, внутренней интуицией и творческим озарением, столь характерных для теософско-окультистского направления русского космизма, известного по именам Е. П. Блаватской, Н. К. и Е. И. Рерихов и др.» (Дёмин 1997: 475).

Плохо ли это? Вышел ли В. М. Кандыба за рамки научности? Оказывается, нет. Целая глава посвящена стиранию границы между наукой и мифом. Начинается она с «исторической» трактовки мифа, к которой в разное время и в разной форме склонялись Г. Шлиман, Р. Грейвс, Б. А. Рыбаков:

«Мифология — всегда мистифицированная и опозитивированная история. И космология! Причём мистификация происходит без всякого злого умысла — вполне естественным путем. При передаче сведений от поколения к поколению в условиях отсутствия письменности (если не выработаны специальные приёмы сохранения информации) первоначальные сведения подвергаются неизбежному и произвольному искажению. К тому же в течение веков и тысячелетий этносы (а вместе с ними роды, племена, семьи) распадаются, переселяются с одной территории на другую, а то и вовсе исчезают с лица Земли. Да ещё войны и социальные перевороты. Да ещё идеологическая или религиозная цензура. Да ещё поэты и художники поприбавают. В результате факты и превращаются в мифы» (Дёмин 1997: 39).

Но отсюда автор делает вывод: «Таким образом, всякий миф, фольклорный образ, имеют под собой *такое же* реальное основание, как и научный факт» (Дёмин 1997: 49; выделено мной — Л. М.). Это позволяет приравнять науку к мифу и вывести существование Гипербореи как полярной прародины человечества (и особенно, конечно же, россиян) из мифических упоминаний, которым априори придаётся *такая же* степень веры, как научным фактам, и даже большая (заметно, что автор не силён в естественных науках, поэтому тут ему опереться не на что).

Н. С. Трубецкой нигде не доходит до таких выпадов против основ научности, чтобы отрицать роль экспериментального знания. Однако в предисловии «*К проблеме русского самосознания*» он набрасывает новую структуру наук, основанную на «персонологии» — как мы помним, науки о «народных» и «многонародных личностях»:

«При такой установке сознания, естественно, возникнет потребность согласовать результаты, добытые отдельными науками, вдуматься в смысл этих результатов; это приведет к тому, что наряду с чисто *описательными* научными исследованиями появятся исследования, осмысляющие фактический материал; наряду с исследованиями историческими — исследования *историософские*, наряду с этнографическими — исследования *этнософские*, наряду с географическими — *геософские* и т. д.» (Трубецкой 2007 а {1927}: 156).

Быть может, речь идёт о *философии* истории, этнографии, географии? Но нет, уже через страницу автор отмечает: «Идея личности, доминируя в системе наук, не замыкается одними науками и *за их пределами* становится исходной точкой для системы философии» (: 157; разрядка автора: курсив мой — Л. М.). Так философия — за пределами наук? Что же такое тогда все перечисленные «-софии»: науки — или нет? И что же это за науки, которые лишь осмысливают «результаты, добытые» другими, сами ничего не добывая? Ведь историософию обычно понимают как философию истории. В таком случае и всё остальное — это философия этнографии, географии и т. д.?

Или, быть может, имеется в виду теоретическая история (и соответственно теоретические разделы других наук)? Но тогда это значит ломиться в открытые двери: ведь все эти разделы и так существуют. Так же как существует теоретическая физика — сфера, в которой трудились Эйнштейн и Планк, Резерфорд и Гейзенберг. Больше того, без такой базы не может существовать ни одна сфера знания. Только позитивисты пытались избавить науку от «метафизики» — отвлечённых рассуждений, выходящих за рамки опытного знания, — но не добились этого даже в собственных трудах. Всё, что им удалось, — это избавить науку от *морализирующего*

философствования, на которое всегда были падки учёные-идеалисты и особенно религия.

И вот за это им должны сказать спасибо все будущие поколения. Теоретик, размышляющий, соответствует ли воле Божией деление зарядов на положительные и отрицательные и не сатаной ли сотворён антимир, — это кто угодно, но только не учёный, даже если он размышляет о сём возвышенном предмете прямо в лаборатории. Потому что на этом пути слишком легко найти ответы на все вопросы: ответы приятные, окончательные и ошибочные. Самое же главное — из таких ответов не вытекают новые вопросы, а значит, в науке подобные объяснения бесплодны. Именно поэтому «новаторы» XVII в., создавшие науку, отказались от экскурсов в область метафизики, хотя сами атеистами не были. Сам Ньютон писал теологические трактаты, но в научной сфере заявлял, что «домыслов не сочиняет» (*hypotheses non fingo*), и оставил завет: «Физика, бойся метафизики!» Но разве не такого же порядка вопрос, соответствует ли воле Божией множественность культур на Земле (Трубецкой 2007 {1923}: 451—453)?